В ожидании изменений[1]

Мария КАМЕНКОВИЧ

Не все любители поэзии знают, что один из самых видных деятелей русского Серебряного века, Вячеслав Иванов, после революции и своего отъезда из России в Баку, а потом в Рим,[2] где он, с небольшими перерывами, оставался до самой смерти,[3] — фактически прожил еще одну жизнь, насыщенную творческой деятельностью. Поздние произведения Иванова — статьи, стихи, проза — долгое время не были доступны в России. В 1971 году в Брюсселе был выпущен первый том четырехтомного Собрания сочинений, куда вошло многое, но не все (что-то и теперь еще ждет своего часа в римском архиве Иванова). Вышедшие в свет один за другим, с большими промежутками, тома Собрания сочинений инициировали интерес к Иванову в филологических, в том числе зарубежных, кругах, и сегодня его творчество изучают все активнее (состоялось уже девять специализированных конференций); в 1992 году в России была опубликована книга воспоминаний дочери поэта — Лидии Ивановой;[4] однако чтобы восстановить имя Иванова в его истинном значении для русской и всемирной культуры, потребуется еще немало времени. Но что называть «восстановлением в истинном значении»? Для самого Иванова творчество было живой силой, путем к одухотворению реальности.[5] Истинного значения наследия Иванова без его — в той или иной форме — *актуализации* не восстановить. Но можно ли рассчитывать на актуализацию? И что под этим словом понимать? Осуществление идей Иванова? Возвращение их в число актуальных? Пойдет ли кто-нибудь путем, который он намечал в своем римском уединении? Эти вопросы пока остаются без ответа. Что, как и о чем говорил Иванов — все это призваны исследовать и исследуют филологи. В петербургскую эпоху, эпоху ивановской «Башни»,[6] Иванов пестовал и наставлял, «*вещал за мистагога*». В поздние годы все изменилось: «*Покаянья плод творю — / Просторечьем говорю*».[7] Но «впасть в простоту» — одно, а остановиться, ограничиться размышлениями о прожитом — другое. Такого выбора Иванов никогда не делал. У него было несколько выдающихся последователей (среди них — покойный С.С.Аверинцев), но и только. Достаточно ли этого, чтобы идеи Иванова получили дальнейшее развитие? Никто не знает. Может статься, все уйдет в песок. Гарантий нет. Тем более, что «актуализация», «размораживание» ивановского наследия кажется далеким как никогда. За Бродским, в оставленный его уходом вакуум, полетела, кружась, как листва, почти вся современная российская поэзия, увлекаемая стихией языка.[8] Она любуется горечью одинокого стояния (а на самом деле — головокружительного метельного полета в обществе других одиночек) посреди трагической, а для кого-то и веселой бессмысленности или как минимум непознаваемости бытия, не пытаясь *противостоять* ей, чаще всего даже не подозревая о возможности противостояния или же понимая его просто как *противопоставление*, предлагая себя этой «бессмысленности» в качестве наблюдателя. «*Рекшыя: язык наш возвеличим, устны наша при нас суть, кто нам Господь есть?*»[9] По Бродскому, у поэта один путь — ввериться стихии языка.[10] Я не стану утверждать, что Бродский-де не прав. Внутри *его* мира (который многие готовы с ним разделить и разделяют) это — правда. Но *это еще не все, что бывает*. Об этом редко, но все же нет-нет да вспомнят. То поэт Юрий Колкер ополчится против любой новизны, призывая укрыться от варварских полчищ за белоснежными стенами Ветилуи традиционного стихосложения,[11] то вдруг окажется, что параллельно стрежневому потоку современной поэзии текут и другие ручьи и реки — хотя бы поэзия О.Седаковой, О.Охапкина, С.Аверинцева… не буду перечислять всех, да я всех и не знаю. Однако в тех острогрудых расписных челнах, которые плывут по реке модернизма, не принято говорить о каких-либо иных, высших ли, низших ли, уровнях бытия — только о созданных или узаконенных литературой. В современной культурной ситуации нет знания о мире — одни неясные интуиции. Виртуозность поэтических форм исключительная, попытки же проникнуть в суть вещей — не в моде. Иванов писал: «*Поэзия — совершенное знание человека и знание мира через познание человека*».[12] И: «*Два таинственные веления определили судьбу Сократа. Одно, раннее, было: „Познай себя". Другое, слишком позднее: „Предайся музыке"*». Кто «*родился поэтом*», «*слышит эти веления одновременно…*». По рекам языка сплавляются стволы, а поэту, по Бродскому, отводится достаточно пассивная роль квалифицированного плотогона (я упрощаю, а что поделаешь?). «Познанию себя», активному внутреннему деланию (для многих это пустой звук, — и кого обвинишь?) нет места, — внятным остается только второе сократовское «веление»: «предайся». «Предайся языку». Река — несет; по твердой земле поэт идет сам. А тропы — давно не хожены, как в народной песне: «*Наша улица — зеленые поля: васильками, муравою поросла…*». Мне вспоминается дорога, когда-то выведшая нас, заплутавших путешественников, из глухой деревеньки на юге Архангельской области в такую же глухую деревеньку, но уже в Вологодской области. Мало-мальски наезженного пути не было, густой лес на тридцать километров, болота. Но некогда местные жители навели через эти болота гать. И она, местами почти непроходимая, вывела нас к жилью. «*Эта пригодившаяся гать*», как в стихотворении Дмитрия Бобышева, может пригодиться и еще… но расчистят ли ее когда-нибудь? Если даже те, кто догадался или знает о ее существовании, не испытывают в ней особой нужды и не задумываются о том, куда она ведет?

От Иванова нас отделяет эпоха, которая, кажется, на излете, но еще не закончилась. Под занавес мы получили возможность осмотреться, —

то ли уцелевшие после потопа, то ли дикари, впервые на короткой памяти своего племени выбравшиеся к морю из девственного леса. История моего поколения (вылупившегося в сознательную жизнь в начале восьмидесятых) вполне отвечает этому образу: долгий путь в душном пространстве, охота за случайными проблесками света, как правило, на свой страх и риск, без учителей, даже не на развалинах цивилизации — в джунглях.

Вот еще образ: прибой играет со щепкой — вот-вот утянет ее в открытое море. Но отбегает пена — и щепка опять на песке. Человек стоит на берегу и, наблюдая за мытарствами щепки, делает вывод: моря не одолеть, мысль о том, чтобы построить лодку и переплыть его, — безумна. Когда-то люди умели строить корабли — об этом человек не догадывается. Он слыхивал, что за морем есть страны, но не верит в это. Иногда, правда, волна выносит на берег бутылку с письмом,[13] но человек не умеет сделать выводов.

Году в 84-м мы в нашем поэтическом кружке пылали готовностью немедленно приступить к «теургии», вкусить Преображения твари (от такого прямолинейного подхода Иванов предостерегал, но мы предпочли не услышать предостережения, тем более что в те времена мы читали только раннего Иванова — брюссельские тома попали к нам с большим опозданием).

«*Осуществимость подвига святого жития*»[14] оказалась и впрямь кажущейся, да и, видно, время тогда еще не пришло. Жизнь выбрала иное русло. Начинать с «теургии», с попытки соучастия в Божественном обновлении мира нельзя; но есть, опять-таки по Иванову, «*минимум высокого задания*»: «*просвеченность небесным лучом и проникнутость небесной гармонией*», попытка подняться над «землей языка» вертикалью стебля и ствола. Кто-то сочтет эту формулировку размытой. И в самом деле, что такое «небесный луч»? Что такое «небесная гармония»? Иванов ввел эти «эфемерности» в филологию и стиховедение в качестве полноправных понятий — пусть не вполне научных. Вертикаль, которую защищает Иванов, — это растущее дерево, преодолевающее притязания земли; концепт поэзии, противопоставившей себя пустоте иронического комбинирования, перестановке единиц, не имеющих глубины. Впрочем, вольно было Иванову рассуждать о глубинах и высотах: эпоха еще не окончилась. Еще процветали немецкие «толстые» журналы «Kreatur», «Hochland», «Corona», посвященые проблемам культуры и духовной жизни, еще не покинул Германию Мартин Бубер...

«Однажды, странствуя среди долины дикой...» Быть может, весь Бродский умещается в этой пушкинской строчке. Он — странствует в пустыне, но он не Моисей, он идет не за библейским огненным столпом, а плывет внутри языка, — хотя, по сравнению с другими стихиями, язык — стихия мыслящая и зрячая.[15] До второй строки Пушкина — «Незапно был объят я скорбию великой» — дело не доходит. Странник не питает любви к «долине дикой». Но он «знает», что только она одна и существует, поскольку не видит ничего, что одновременно сулило бы выход и не оскорбляло бы его эстетических пристрастий. До «скорби великой», которая заставила бы вскочить и бежать куда глаза глядят, не доходит: сознание превосходства над пустыней, умение виртуозно потешаться над ее абсурдностью уже сами по себе обеспечивают горькое удовлетворение. Но пустоты, которая, по Бродскому, «вероятней и хуже ада», поэт все же страшится... Значит, все-таки рассчитывает продолжиться за порогом смерти, где возможна встреча с этой пустотой, и ощутить, что она — «хуже ада»?[16] Но это не служит поводом к «скорби великой» и к вещему безумию, как у пушкинского Странника. Дальше констатации положения вещей поэзия школы Бродского не идет.

В этом контексте путь Иванова (попытка, если можно так выразиться, ввести русскую словесность в живую жизнь всемирного слова со всеми его традициями и сделать шаг дальше) кажется тупиковым ответвлением, развенчанной иллюзией (тем более, что Россией тогда владела иная страсть — к строительству нового мира на месте старого). Путь Иванова кажется не гатью, не заросшей «императорской дорогой»,[17] а чем-то, пресекшимся вдали от России, в отрыве от русского читателя и от захвативших инициативу в поэзии новых и новейших течений... Если теперь кто-то идет «дорогой» Иванова — он не на виду. Мне не известны в настоящее время в России какие бы то ни было «про-ивановские» поэтические группы (а нашей больше не существует).

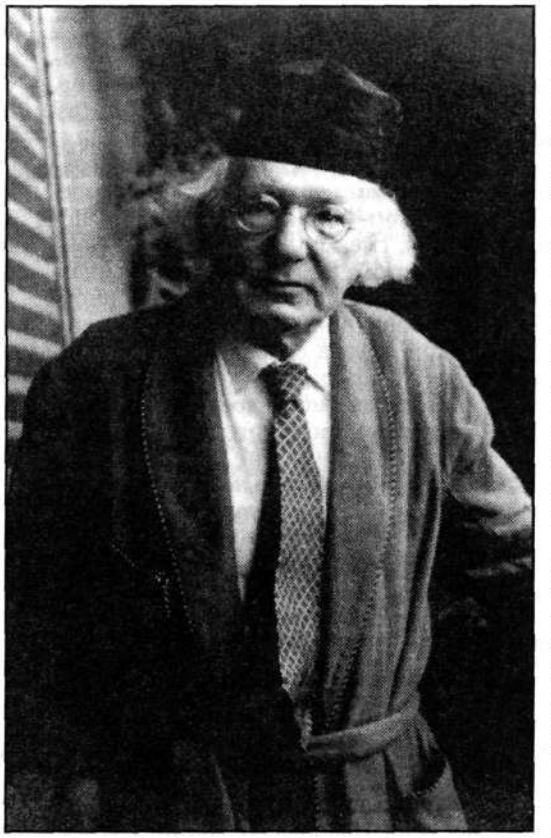
В эмиграции Иванов стоял особняком, не участвуя в литературной жизни, не печатаясь в журналах (за исключением «Современных Записок»). Сначала он читал лекции по русской литературе в университете Павии, потом преподавал языки в колледже при том же университете и консультировал старших студентов по филологии, истории и литературе (знания его были энциклопедическими), общался с представителями европейской культурной элиты (к нему в Павию приезжали, например, Бенедетто Кроче, Мартин Бубер, а позже, в Рим — Исайя Берлин, содействовавший изданию в Оксфорде поэмы Иванова «Человек», и другие). Иванов писал для европейских журналов (итальянских и немецких — сразу на соответствующих языках: ими он владел в совершенстве). В 1934 году был выбран профессором на кафедру славистики Флорентийского университета, однако, распоряжение правительства помешало ему занять этот пост как не члену фашистской партии. Иванов остался в Риме (где его навещали Мережковские, Бунин и многие другие), перебиваясь случайными заработками, пока не был приглашен читать лекции в Русской католической семинарии, а потом — преподавать славянский язык в одном из университетов Ватикана. В 1941 году Римская Католическая семинария заказала ему русский комментарий к книгам Нового Завета, а в 1947-м — еще и к Псалтири (как недавно выяснили исследователи, именно ивановские комментарии, без указания авторства, сопровождают так называемую «Брюссельскую Библию», которую в брежневскую эпоху «забрасывали» с Запада в Россию большими партиями).[18] За все время жизни в Италии — до 1944 года — Иванов написал чуть больше десятка стихов (потом, правда, снова стал писать много), надолго переключившись на статьи, работал над прозаическим произведением в совершенно особом жанре — «Сказанием о Светомире царевиче».[19] Никто из поэтов эмиграции за ним, кажется, не следовал. Не было у Иванова своего поэтического семинара, не сбивались вокруг него стайки пишущей молодежи (и не только), как это бывало в голодное время в Петербурге[20] и позже — в Баку, где Иванов почти четыре года преподавал в местном университете классическую филологию. И след этой дороги потерялся бы, и с вертолета ее было бы уже не разглядеть, если бы не тоненькая[21] ниточка человеческой преданности и духовной преемственности. К счастью, были изданы — в Брюсселе — четыре тома Собрания сочинений, куда вошло многое, но не все. Иначе поздние работы Иванова так

и остались бы лежать под спудом... Сейчас забытая дорога расчищается уже усилиями многих. Но будет ли продолжено ее строительство? «Светомир» — духовное завещание Иванова — остался незавершенным. Последними словами Иванова были: «Спаси моего „Светомира“» — просьба, обращенная к О.Шор.[22] Продолжение заложено в творчество Иванова как генетическая программа. Одинокий мыслитель, он не уставал говорить о соборности (*«...некоей новой энергии и ценности, не присущей ни одному человеку в отдельности»*[23], о единстве во Христе «*...где соединяющиеся личности достигают совершенного раскрытия и определения своей единственной, неповторимой и самобытной сущности, своей целокупной творческой свободы*»),[24] о «*жизненности и желанности*» этого слова, хотя и оговариваясь — это «*задание, а не данность*».[25]

Вел ли этот непродолжившийся путь в никуда? А вдруг «в никуда» ведет как раз торный путь? Все ли прогнозы неосуществлены, а надежды посрамлены?

В «Кризисе гуманизма» Иванов рисует набросок будущего, в котором только и могли быть по-настоящему прочитаны его книги и где они были бы «дома»: в XX веке народы оказались «*вовлечены в ураган сверх-человеческого ритма исторических демонов*», но вот уже спадает «*...с мира, как с живучей змеи, тускло-пестрая чешуя... из трещин износившейся шкуры сквозит новый свежий узор тех же деревьев и вод и небесной тверди, проникнутых веянием Духа жива... человек должен так раздви-нуть грани своего сознания в целое, что прежняя мера человеческого будет ему казаться тесным коконом...*»[26] Это написано в 1919 году, когда «ураган» еще далеко не улегся... Прав окажется Иванов или нет — неизвестно. По крайней мере, ничто, кажется, пока не предвещает вселенского духовного обновления и очищения, — но Иванов мыслил эпохами, а что принесет новая эпоха и когда начнется «некалендарный» двадцать первый век, никто не знает. Часто говорят — XX век переломлен Второй мировой войной на две несоединимые части, и с одного берега образовавшегося каньона уже не докричаться до другого, и не понять, о чем кричат оставшиеся на том берегу. Но большинству уже и не важно, о чем они кричат: после катастрофы все изменилось. С той стороны железная дорога оборвалась, и все паровозы упали в бездну, а с этой стороны прокладывают новую дорогу, уже в другом направлении, и другие набрались пассажиры, а прежнее утратило насущный смысл. Насколько это верно? [27]

В любом случае, время Иванова наступит, только когда (и если) в поле зрения поэзии опять окажется духовная жизнь человека, когда понятие «духовного пути» из почти исключительного на сегодняшний день ведения антропософов и приверженцев восточных культов вернется в круг актуальных тем. По Иванову, истинное искусство осуществляется так: душа *ставит зеркало* «сырой» реальности, простому потоку чувств и событий, Дух *ставит зеркало* душе,[28] осмысляя отображенное ею и производя отбор.[29] Когда этот процесс, вместе с древней эллинской задачей «познай себя», снова станет интересным не только для одиночек и верхоглядов, и когда снова будет осознана роль поэзии в этом процессе, оборвавшаяся дорога, которую строил Иванов (а в начале века — спорадически — и другие теоретики символизма, разумеется; тогда Иванов был главой течения, а не одиночкой), получит шанс продолжиться.



Вячеслав Иванов.
Фото из семейного архива Ивановых.

Теория символизма у Иванова — не просто теоретическое обоснование конкретного, закончившегося, ушедшего в землю исторического течения, а, так сказать, обоснование надежды, апелляция к некоему вечному потоку, текущему среди времен; меняя только берега. Как пример можно привести «Инклингов» [30] с их интересом к мифу. В сущности, «Инклинги» — в соотнесении их идей с теориями Иванова — те же «реалистические символисты» (термин Иванова), коль скоро «*реалистический символизм признает символом всякую реальность, рассматриваемую в ее сопряженности с высшей реальностью, т.е. более реальной в ряду реального*», ищет в вещах их непреходящую ценность, вскрывает значащие связи между ними, «*...примыкает... к нормам „вечного символизма“*» (в противовес декоративному, субъективистскому, где символ — не «*истина, долженствующая быть открытой*», а «*вестник содержаний, преимущественно психологических*», действующий в пределах, предписанных суфлером).[31] Река вышла на поверхность — и снова ушла под землю.

Долго ждать перемен, недостает терпения, но каждый магистральный поток должен исчерпать себя до конца, иначе не осознать того, что в расширенном контексте он может оказаться, наоборот, маргинальным. Все находится в состоянии вечного изменения, былые «магистрали» сдвигаются на обочину, ложное отвергается, ранее непризнанное возвышается. В ожидании перемен в русской культуре наследие Иванова, настоянное на культуре всемирной,[32] пока что собирается, восстанавливается, изучается, не получая творческого развития. Но и простое изучение, что неожиданно, освобождает немалый творческий потенциал. Неожиданно — поскольку филология далеко не всегда работает на поэзию и, как правило, преследует собственные цели. Однако в данном конкретном случае, — выходя на авансцену в эпоху «Преимущественно Изучения» ивановского наследия, — филология занимает какое-то изначально ей предназначенное место, принимает на себя функцию «мертвой воды». Пока не затянутся раны, пока не будут восстановлены смысл и связь, живая вода бесполезна. Филология возвращает тексту, так сказать, самоидентичность, память о себе — когда это возможно. «Память» —

чуть ли не самое любимое слово Иванова. Память — *«...источник всякого личного творчества, гениального прозрения и пророческого почина... тайно священствует, кто ей служит и жертвует... ибо священство обращено лицом к прошло-му: ему определено хранить предание святынь»*.[33] Художник всегда — *«жрец Мнемосины»*. Но по другую сторону алтаря Памяти стоит филолог, смиренный труженик, поденщик Мнемозины... Если поэты — белое священство Памяти, филологи — ее послушники.

Стихи Иванова стоят в русской словесности архаическими памятниками прошлого — последних лет старой России, окаменевшим эллинством (словно оно свободно прошло через века и культуры и вот теперь, взглянув в лицо горгоны Медузы, обернувшееся к нему из будущего, превратилось в памятник самому себе), загустевший[34] дух баснословно древней Византии (привычность нынешнего православного обряда обманчиво осовременивает этот дух, на самом же деле он древен именно баснословно)... И это прошлое все дальше от нас, все архаичнее, и уже трудно представить, что чуть меньше ста лет назад оно казалось разительной новизной. Нам наследие Иванова удобнее всего представлять себе как прошлое (подлежащее, в частности, изучению именно как прошлое), но оно — парадокс — обращено в будущее.

С каждым новым десятилетием живая связь ивановского наследия с прошлым все условнее. Все отчетливее видно, что оно не принадлежит прошлому, но постоянно обновляется и, переходя из контекста в контекст, делается все актуальнее. Сколько десятилетий прошло с тех пор, как Иванов предсказывал грядущий конец эпохи индивидуализма через возвращение культуры символа! А индивидуализм еще не изжил себя, его эпоха еще не закончилась, и слова Иванова все еще обращены в будущее, хотя что-то уже и сдвинулось. *«Внутренний образ мира в нас меняется и ищет соответственного выражения в слове; но еще не определился этот образ в нас...»* — пишет Иванов в статье 1922 года.[35] Это — программа на все столетие. Начавшаяся работа со словом еще не избыта. А какие-то из ранних идей Иванова действительно остались в прошлом, — хотя бы отпавшая сама собой мечта об «орхестрах и фимелах»,[36] то есть каких-то коллективных «ячейках стихийного искусства» (частный случай — хоровод), которыми, как надеялся Иванов, когда-нибудь взбурлит земля Русская, когда вырвется на волю *«стихийно-творческая сила народной варварской души»*. Позже Белый иронизировал: уж не пародия ли на эти «орхестры» — идея большевист-ских Советов? Колхозная самодеятельность? Да и сами колхозы?..

Стилистика Иванова, особенно раннего, на современный вкус «тяжеловесна», «высокопарна», архаична. *«Уж и третья весна расцвела с похорон Гориславиных, а все темен и косен Лазаря дух, как страна полунощная...»* *«...Храните, лилии оград, / Замкнутый вертоград чудес!»*[37] *«Для реалистического символизма... высшая реальность обретается единым актом интуиции»*[38]... Но современникам-то она представлялась новизной, смелым экспериментом. Помня об этом, адекватнее было бы назвать эту стилистику вневременной, инвариантной — всякому времени чужой, всегда сохраняющей дистанцию. Маловероятно, чтобы язык Иванова когда-либо кто-либо перенял. На языке Бродского и Цветаевой заговорили многие, а Иванов от «общеупотребительности» защищен надежно. Когда будущее станет настоящим, оно или само переработает архаический субстрат русской действительности (сконцентрированный в церковнославянских текстах), перемешав его попутно с сегодняшним повседневным языком, может быть, даже с жаргонизмами, или отольет новые формы из более доступного материала сегодняшней поэтической речи, опосредованно, впрочем, восходящей все к тому же времени Иванова. В поэзии Цветаевой и Бродского «архаические» стихи Иванова, освободившись от ассоциаций прошлого, которое, казалось, намертво встроило их в себя, превратились в настоящее, в безымянную плодородную почву. «Отжившее» не отжило: оно существует и развивается под другим именем и в другом модусе, а частично остается в состоянии взрывоопасного покоя, как неиспользованное оружие на забытом, но когда-то стратегически важном складе. Ивановские стихи — как уцелевшие здания эпохи модерн: кому-то они казались не менее новаторскими, чем поэзия Хлебникова, а для нас они — прошлое. Нам не дано прочувствовать, какими были эти стихи, когда были «современными», как виделись в общем контексте и как на их фоне виделось остальное. Но кое о чем — по многочисленным отражениям в стихах современников — догадаться можно. Иванов, отразившийся в Цветаевой, — это напор, категоричность, акцентированность каждого слова, и все это — помноженное на душевный темперамент и освобожденное от сдерживающей аскезы ивановского стиха. Стиль, перенесенный из области духа в стихию душевности. И мы уже не видим похожести: слишком разные миры. Мы не замечаем у Цветаевой характерных, чисто ивановских архаизированных оборотов, хотя их множество: архаичность у Цветаевой переплавлена в горниле современной ей речевой стихии и уже кажется не архаичностью, а, как и у Иванова во время оно, новизной.

В статье «О границах искусства» Иванов различает внутри настоящего творческого акта «восхождение» и «нисхождение». Восходит (в область высших духовных смыслов) — человек в поэте, нисходит — поэт, «художник» в человеке[39] (облекая увиденное «наверху» в поэтическую форму). Смешение того и другого — фатально: «человек» не должен подсказывать поэту, чтобы не привнести в стих частное, «сырое» (то есть — не выверенное, не «отжатое», не «пропеченное» в высотах), не подменить «небесный луч» своим ограниченным земным «мудрованием».

Обращается ли к Иванову сегодня кто-нибудь из поэтов как к учителю? Кажется, почти никто. Стихи Иванова не восприняты той таинственной средой, которая называется «нашим временем». Что-то из их арсенала эта среда переварила, что-то выдает за свое, что-то хвалит, — правда, в связи с другими именами... но САМИХ этих стихов она почти не знает. Значит — важнейшая составляющая культурного прошлого России не аккумулирована, мимо нее прошли. Этот эффект сродни разорванности личности, о которой писал Иванов: *«Где я? Где я? По себе я / возалкал...»* На какое-то время одна часть человеческого «я» в потоке жизни подавляется, другая гипертрофируется, а целостность оказывается утраченной и восстанавливается (если восстанавливается) лишь спустя какое-то время, в таинственный момент внутреннего возрождения.[40] Так и в культуре. Иванов сейчас — «подавленное Я» русской культуры в ожидании таинственного момента воспоминания и возрождения, или даже, если выразиться сильнее, воскресения, а не «продолжения»: возобновления в новом качестве после фатального разрыва. Без освоения позднего на-

следия Иванова русской культуре не «вспомнить», не преодолеть разрыва (впрочем, не все этот разрыв замечают и признают). Сам Иванов был признанным учителем, «мистагогом», — и кого же он «научил»? Кого можно причислить к его ученикам? Волошина? Но вряд ли можно назвать Волошина учеником Иванова, хотя сходство и влияние явственны... Иванов — это «Башня», но он и на «Башне» — особняком. Может быть, одно время ему был «параллелен» Андрей Белый... Но не как ученик. «Учительство» Иванова не реализовано в его современниках, разве что в отдельных, единичных людях — в его детях, в О.Шор, в В.А.Мануйлове[41]...

Блок называл Иванова «Царем самодержавным», нам же сам Блок кажется великаном. Сколь же велик должен быть Царь?.. А в школьных учебниках Иванов характеризуется как «второстепенный русский поэт». О. Шор писала: «*мы... тщательно организуем беспамятство*», а оно, в свою очередь, — это уже слова Иванова, — и само «*пытается сорганизоваться... пытается создать свою цивилизацию*».[41] Наше коллективное «настоящее» проглядело Царя. Что же принесет будущее...

Прогнозы Иванова — об этом уже говорилось выше — иногда сбываются. Между прочим, его предвидения в области искусства довольно оптимистичны: «*Ныне... школа... символизма всюду несомненно умерла вследствие внутреннего противоречия, ей изначально присущего. Но в ней жила бессмертная душа; и, так как большие проблемы, ею поставленные, не нашли в ее пределах адекватного выражения, все заставляет предвидеть в далеком или недалеком будущем в иных формах более чистое явление "вечного символизма"*».[42]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1]Первая публикация — в иной редакции — в: Europa Orientalis/ XXI/ 2002:2, Studi e Ricerche sui paesi e le culture dell´esteuropeo, numero 2 del 2002. С. 345—362.

[2]В 1924 г.

[3]Вячеслав Иванов умер в 1949 г. в Риме в возрасте восьмидесяти трех лет.

[4]*Иванова Л.В.* Воспоминания (Книга об отце).М. 1992.

[5]См., например: *Вяч. Иванов.* Собр. соч., Т. I. С. 110. Слова Иванова в пересказе верной подруги его семьи и единомышленницы Ольги Шор: «Дар, приобретенный при духовном восхождении... должен быть использован для одухотворения мира», или у самого Иванова: «*...Искусство — одна из форм действия высших реальностей на низшие*». Собр. соч. Т. II. С. 646.

[6]О Башне Иванова знают все, кто когда-либо интересовался Серебряным веком. Так называли Вячеслав Иванов и Лидия Зиновьева-Аннибал свою квартиру, где раз в неделю — в течение нескольких лет — собирался цвет творческих деятелей Серебряного века.

[7]Римский дневник // *Вяч.Иванов.* Собр. соч. Т. III. С. 593.

[8]«...Поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле диктат языка... зависимость эта — абсолютная, деспотическая...» // Сочинения Иосифа Бродского. СПб., 2000. Т.VI. С. 53.

[9]Псалтирь 11:5. Здесь слово «язык» употреблено в смысле «народ». Но тем неслучайнее кажется многозначность и объемность церковнославянского текста.

[10]В «Кризисе гуманизма» Вяч.Иванов уподобляет язык земле, откуда вырастает поэтическое произведение. Исключено ли, что в отказе современной поэзии от «возрастания» к мысленному небу, в ее погруженности в стихию языка осуществляется другое пророчество.

[11]*Юрий Колкер.* Ветилуя. СПб., 2000.

[12]Спорады // Собр. соч. Т. III. С. 119.

[13]Ср. у о. С. Булгакова: «...пусть же и эти страницы, тусклая запись о великих предвестиях, подобно письму в засмоленной бутылке, брошены будут в свирепеющую пучину истории» // *С.Н.Булгаков.* Свет Невечерний. 1994. С. 5.

[14]«...Так строги требования заветных правд, обращенные к художнику, так далеки... от современного духа мятежного самоутверждения личности... и вместе так просты — до кажущейся осуществимости в подвиге святого жития» — О границах искусства // *Вяч.Иванов.* Собр. соч. Т.II. С. 650.

[15]По Бродскому, представить язык «как некое одушевленное существо» было бы «только справедливым». // Сочинения Иосифа Бродского. Т. VI. С. 53.

[16]Мы боимся смерти, посмертной казни;
Нам знаком при жизни предмет боязни:
Пустота вероятней и хуже ада.
Мы не знаем, кому нам сказать
«не надо».

Иосиф Бродский.
«Стихотворения». 1991. С. 125.

[17]Ср. у другого великого «реального символиста» XX века — Дж.Р.Р.Толкина: «...Дорога была проложена во времена давно забытые... впрочем, следы работы рук человеческих еще не исчезли, и старые камни мостовой лежали на прежних местах, образуя...прямую, точно стрела, линию... в кустах еще белел изредка обломок колонны... но буйно разросшийся вереск... и папоротник-орляк так густо заткали обочины... что в конце концов <дорога> превратилась в обыкновенный заброшенный проселок. Однако и проселок по-прежнему никуда не сворачивал и вел к цели наикратчайшим путем». // *Толкин Дж. Р.Р.* Властелин Колец. СПб., 2000. Т. II. С. 423.

[18]Комментарии Иванова напечатаны там под редакцией о.А.Меня. Меню принадлежат и комментарии к Ветхому Завету (*Архипов А.* Вячеслав Иванов — комментатор Нового Завета. Предварительные соображения. Europa Orientalis/ XXI/ 2002:1, Studi e Ricerche sui paesi e le culture dell´esteuropeo, numero 1 del 2002. P. 39—94).

[19]Однако дописать не успел. После его смерти О.Шор — по оставленным им указаниям — дописала «Светомира» и на это у нее ушло пятнадцать лет. Текст включен в Собрание сочинений.

[20]См. Europa Orientalis/ XXI/ 2002:2, Studi e Ricerche sui paesi e le culture dell´esteuropeo, numero 2 del 2002. P. 115—169. «"Кружок поэзии" в записи Фейги Коган», публ. и введение Шишкина А.

[21]Семья Иванова (дочь Лидия и сын Димитрий), Ольга Шор. Теперь никого из них уже нет в живых, но все они приложили много усилий для сохранения ивановского наследия и издания Собрания сочинений.

[22]Ольга Александровна Шор (1894—1978) — философ, друг и сотрудница Иванова в римский период его жизни, духовно близкий ему и всей его семье человек, инициатор издания Собрания сочинений и автор вступительной статьи и комментариев. Разрабатывала собственную философскую систему под условным названием «мнемология», до сих пор не опубликованную. С 1927 г, жила в Риме.

[23]О кризисе гуманизма // Собр. соч. Т. III. С. 382.

[24]Лик и личины России // Собр. соч. Т. IV. С. 572.

[25]Там же. С. 260, 261.

[26]Там же. С. 382.

[27]Тот же Бродский возражает против этого категорически: «...из двух подходов к культуре, возможных после этого "великого разлома" — "воссоздания эффекта непрерывности культуры" и "пути дальнейшей деформации... пересекшегося дыхания" он безоговорочно выбирает первый». // Сочинения Иосифа Бродского. Т.VI. С. 52.

[28]Используя введенный Ивановым образ искусства (на его языке — «художества») как зеркала, можно уподобить господствующую сегодня поэзию спонтанного переживания и спонтанной мысли первому зеркальному отражению, которое «подчинено закону преломления света... правое превращается в этом отражении в левое, и левое в правое... Как восстановляется правота отражения? Чрез вторичное отражение в зеркале, наведенном на зеркало. Этим другим зеркалом — speculum speculi — исправляющим первое...» (Религиозное дело Владимира Соловьева. Собр. соч. Т. III. С. 303).... «делается художество», включающее в себя «...свободное и цельное признание иерархического порядка реальных ценностей»: как только формы «право соединены и соподчинены, так тотчас художество становится живым и знаменательным... его зеркало, наведенное на зеркала раздробленных сознаний, восстановляет изначальную правду отраженного, исправляя вину первого отражения, извратившего правду» (Заветы символизма. Собр. соч. Т. II. С. 601). В каком-то смысле и постмодернизм ставит «второе зеркало» миру культуры, но его зеркало не восстанавливает трехмерности и уж тем более не добавляет новых измерений, а только уравнивает все отраженное на собственной плоскости, как обычные зеркала. Эта забава кажется веселой, поскольку глубина, своя у каждого отраженного предмета (слова, имени, поня-

тия), «схлопывается» в плоскость, и в новом — плоском — качестве сообщает каждому особую индивидуальность, свой оттенок (безотносительный к их истинному значению). За счет этого постмодернистская игра не сразу прискучивает. Но в контексте ивановского мышления задача истинной поэзии состоит в восстановлении, посредством «словесного художества», многомерности бытия на более высоком уровне. Ср. со схемой, введенной Жаном Бодрийяром (*Baudrillard J.* Simulations. N.Y. Columbia U. 1983. P. 11): в отличие от Иванова, который описывает «положительную» эволюцию образа, Бодрийяр предлагает четыре этапа «отрицательной» его эволюции — сперва, как и у Иванова, простое зеркальное отражение, затем отражение в кривом зеркале (авангард), затем образ превращается в маскировку отсутствия реальности и, наконец, в симулякр — копию без оригинала, которая существует, не имея никакого отношения к реальности. Ср. также с выдвинутым Ж.Деррида *понятием* «деконструкции»: «...Не вдаваясь в подробности, можно определить этот прием как сведение всех означаемых, т.е. разнообразных реалий, предметных и понятийных содержаний, в плоскость означающих, т.е. слов, номинаций, — и свободную игру с этими знаками. Постмодернизм критикует метафизику присутствия, согласно которой знаки отсылают к чему-то стоящему за ними, к так называемой «реальности». На самом деле они отсылают только к другим знакам, а вместо реальности следует мыслить скорее отсутствие или несбывшееся ожидание таковой, т.е. область некоего зияния, бесконечной отсрочки всех означаемых» (*Эпштейн М.* Истоки и смысл русского постмодернизма // Звезда. 1996. № 8. С. 166—188).

[29]«Второе Зеркало» («Зеркало Зеркал»), постав ленное «первому отражению» «сырой реальности» в стихии языка, у Иванова придает тексту повышенную сложность, которая заставляет теоретиков и практиков «спонтанности» инстинктивно обходить Иванова, заставляет их недоумевать — полно, да стихи ли это? Поэзия «главного потока» настроена сегодня на «первое зеркальное отражение», на запечатление непосредственного вдохновения в стихии языка, который дает вдохновению форму. А разве может кого-нибудь «непосредственно» вдохновить, скажем, генезис античных гимнов? Описанное Ивановым «зеркало зеркал», восстанавливающее «реальный порядок вещей» (в первом отражении перевернутый, как дерево в луже, и потерявший трехмерность) и возводящее реальность на более высокий уровень, где снимается спонтанность и выявляется глубинный смысл, — остается невостребованным. Но именно оно собирает в пучок лучи смысла, которые в реальности рассеяны и разбавлены бессмысленностью. Отсюда вторая часто отпугивающая читателя стилистическая черта поэзии Иванова — усиленная акцентированность. В стихах Иванова зачастую как будто делается ударение на каждом слове, каждое слово стоит на котурнах. Иванов не скажет просто «Тибет», при том, что стихотворение вовсе не о Тибете и, казалось бы, «Тибет» в данном конкретном контексте никакой индивидуальной характеристики не требует: Иванов скажет — «твердыня тайн, Тибет», вбив четыре свайных «т». Кто-то заметил, что бывает поэзия, состоящая из одних вдохов, в то время как естественный порядок требует, чтобы вдохи сопровождались выдохами. Поэзия Иванова почти вся состоит из одних вдохов. Проф. Д.Мицкевич называет это — «*чудовищное уплотнение реальности*» путем использования вторичных, третичных и т.д. значений слов..., возмещающее «затрудненность чтения такого текста своей смысловой насыщенностью и точностью». (*Мицкевич Д.* «Принцип восхождения в сонете «Apollini» Вячеслава Иванова». Доклад, прочитанный на VIII Ивановской конференции (Europa Orientalis/ XXI/ 2002:1, Studi e Ricerche sui paesi e le culture dell`esteuropeo, numero 1 del 2002. P. 251—273). Но отсутствие спонтанности, а в идеале полное бесстрастие — признак зрелости. Ср. также в кн. *Аверинцева С.С.*: «...Нагнетание кратких и особенно односложных слов ("свил Он твердь"), вообще нередких у Вяч. Иванова,... произносятся с особой решительностью, доводя до внимания читателя почти физически ощутимую сжатость» // Скворешниц вольных гражданин... СПб., 2002. С. 147.

[29]Заветы символизма // Собр. соч. Т. II. С. 601.

[30]Неформальная литературная группа, существовавшая в Оксфорде в тридцатых годах прошлого столетия (К.С.Льюис, Дж. Р.Р.Толкин, Ч. Вильямс и нек. др.).

[31]Символизм // Собр. соч. Т. II. С. 665.

[32]Как неслучайно поздние годы Иванова оказались связаны со «всемирным» Городом — Римом!

[33]Древний ужас // Собр. соч. Т. III. С. 92, 93.

[34]Стилистика Вячеслава Иванова кажется очень похожей на стилистику византийских церковных текстов: та же плотность, та же стилистическая усложненность и антиномичность.

[35]О новейших теоретических исканиях в области художественного слова. Собр. соч. Т. IV. С. 633.

[36]О веселом ремесле и умном веселии. Собр. соч. Т. III. С. 77.

[37]Прозрачность. 1903—1904 г. // Собр. соч. // Т. II. С. 815.

[38]Символизм (1936) // Собр. соч. Т. II. С. 665.

[39]О границах искусства // Собр. соч. Т. II. С. 635.

[40]Эти процессы подробно описаны М.Мамардашвили в его «Психологической топологии пути».

[41]Виктор Андроникович Мануйлов (1903—1987) — один из бакинских учеников Иванова. Впоследствии литературовед, специализировавшийся в основном на изучении творчества Лермонтова. Автор поэтического сборника «Стихи разных лет, 1921—1983».

[41]Письмо к Дю Босу // Собр. соч. Т. III. С. 432.

[42]Символизм // Собр. соч. Т. II. С. 667.

ПАМЯТИ МАРИИ КАМЕНКОВИЧ

15 декабря 2004 года умерла Мария Каменкович.

Она родилась в Ленинграде в 1962 году. Закончила филфак ЛГУ по специальности «структурная лингвистика». Писала стихи. В качестве соредактора несколько лет выпускала самиздатовский православный журнал «Соты». В 1989 году занялась изучением и переводом трудов английского писателя Дж.Р.Р.Толкина. В соавторстве с В.Карриком и С.Степановым опубликовала перевод «Властелина Колец», который отличается от других переводов прежде всего наличием глубокого и подробного комментария, за который в 1996 году получила Беляевскую премию. В том же году вышла первая книжка стихов М.Каменкович «Река Смородина», номинированная на премию «Северная Пальмира». В 1999-м — вторая книга стихов, «Михайловский замок». В 2002-м — третья, «Дом тишины». В Германии, где Мария жила последние годы, ее стихи и статьи печатались в русских журналах «Родная Речь», «Крещатик», «VIA REGIA», «Студия», «Век XXI», «Партнер».

Наши встречи с Марией в стенах редакции были редкими, но каждая из них осталась памятной. Нас радовала душевная глубина и чистота этой женщины, чьи работы, узнаваемые с первых строк, отличались особенной прихотливостью мысли, бьющей из двух источников — веры и знания. Такими же, глубокими и искренними, были ее стихи.

В журнале «Всемирное слово» Мария Каменкович опубликовала лишь две статьи, но мы, редакция и редколлегия, всегда будем помнить о ней как о «своем» авторе.